



Гуманитарный
МЕТОД

ПРИКЛАДНАЯ
ФИЛОСОФИЯ

Сергей Дегтярев

Сергей Дегтярев

Гуманитарный метод

<https://litres.ru/73834274>

SelfPub; 2026

Аннотация

Перед вами — первое систематическое изложение основ гуманитарного метода, который коренным образом отличается от всего, что привыкли называть «наукой» или «философией».

Уникальность метода заключается в радикальном перевороте привычной оптики. В отличие от естественных наук, стремящихся исключить наблюдателя ради «объективности», гуманитарный метод доказывает, что субъективность есть единственное условие доступа к реальности. В отличие от классической метафизики, ищущей сущее в «мире идей» или «материи», он помещает в центр осознание собственного действия.

Это не учебник, а испытательный полигон для духа. Если вы устали от плоского эмпиризма, если вас мучает беспредметное бешенство современной эпохи и если вы готовы к суровому экзамену осознания — это сочинение станет вашим руководством к действию. Нет ничего практичнее философии.

Содержание

О сем сочинении, в коем дерзостно пересматриваются основания всего, что невежественный рассудок привык почитать незыблемым	4
Философия сознания	8
Что не так с научным наблюдением	19
Нет ничего практичнее философии	35
Гуманитарный метод: как возникает философия	43
Гуманитарное определение теории	57
О научном методе и принципе объективности	58
Взгляд гуманитарного метода на эту ситуацию	60
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Сергей Дегтярев

Гуманитарный метод

**О сем сочинении, в коем
дерзостно пересматриваются
основания всего, что
невежественный рассудок
привык почитать незыблемым**

Кто, будучи ещё не вполне подавлен доктринами школьной премудрости, сохранил способность удивляться, тот давно уже заметил, что так называемая «наука» о мире и человеке есть не более чем жалкое переливание из пустого в порожнее. Она мнит себя зданием, возведённым на граните фактов, меж тем как вся её кладка держится лишь на песке недоказанных, а главное — *недоказуемых* допущений. Ныне же, когда сей ветхий дом дал столь явственные трещины, что сквозь них видно его нищенское убранство, появляется сочинение, которое я имею честь представить читателю, — сочинение, дерзающее начать всё с начала.

Уникальность и, смею утверждать, *оригинальность* сего труда состоит не в изобретении нового жаргона и не в компи-

ляции чужих мнений, что есть обычный промысел университетских мудрецов. Она заключается в беспримерной смелости — в смелости *опровергнуть самое очевидное*. А именно: ту наглую самонадеянность, будто индивидуальное «я» есть первичная и единственная реальность. Автор с непоколебимой логикой, достойной если не Канта, то, по крайней мере, того, кто перешагнул через Канта, доказывает, что сознание изначально не индивидуально, что индивидуальное «я» есть лишь поздняя выучка, а подлинный субъект — это «мы» в его борьбе с «они».

Читатель, привыкший к удобным креслам и плоскому эмпиризму, поначалу воспротивится. Он воскликнет: «Это безумие!» Но горе тому, кто примет вызов этой книги с лёгким сердцем. Ибо его ожидает не праздное умозрение, а суровый экзамен: ему предстоит *осознать*, что его любимые «субъективные переживания» суть не что иное, как *желания*, природу которых он доселе не понимал.

В чём же, спросит нетерпеливый читатель, *новизна* сего подхода? Отвечу кратко, дабы не тратить времени попусту. Вся предшествующая метафизика, от Платона до Гегеля, искала сущее в «мире идей», «абсолютном духе» или «воле к жизни». Современная же наука, эта горничная техники, и вовсе объявила своим предметом мёртвую материю. Ни та, ни другая не задались *главным* вопросом: *зачем* я наблюдаю мир? Предлагаемое же сочинение впервые ставит во главу угла *цель наблюдения*. И цель эта, как выясняется, отнюдь

не «познание ради познания», а жёсткий практический императив: **осознать, что я сделал.**

Только это осознание, учит автор, превращает случайность в закономерность, раба обстоятельств в господина, а смутное томление в *культурную потребность*. Здесь мы встречаемся с самой драгоценной частью книги: с её *гуманитарным методом*. Сей метод есть не что иное, как строгая рефлексия над собственным действием, ведущая к выработке *философии субъективного явления*. Или, говоря иначе, — это единственный способ выбраться из того «смутного времени», в коем мы ныне пребываем, когда «культурное ограничение есть, а культурного условия его преодоления — нет».

Тот, кто ждёт от философии утешения или возвышенных грёз, пусть немедля захлопнет эту книгу. Ибо она не даст ему ничего, кроме инструмента для пытки самого себя — для *осознания*. Но тот, кто устал быть игрушкой внешних сил, кто чувствует в себе силы к *подвигу* (ибо подвиг, как здесь доказывается, есть метод творения нового бытия), тот найдёт в этих страницах не трактат, а руководство к действию. Нет ничего практичнее хорошей теории, гласит старинная мудрость. Данное сочинение доказывает, что нет ничего практичнее философии, которая честно признаёт свою субъективность и дерзко заявляет: *счастье есть осознание способностей*.

Итак, пред вами — не книга для чтения. Это испытатель-

ный полигон для духа. Читатель, вооружись терпением (ибо именно это суть воли) и отбрось детскую веру в «объективный мир, существующий сам по себе». Ибо мир дан тебе только в твоём сознании, а твоё сознание, если ты достаточно смел, есть часть *нашего* общего «Я». Да услышит сии слова тот, кто способен их услышать.

Философия сознания

Фундаментальное заблуждение, в коем пребывает невежественный рассудок, есть мнимость первичности индивидуального сознания. Истина же, хотя и противная слепой самонадеянности человека, гласит: сознание по своей сущности есть изначально нечто всеобщее. Индивидуальное «Я» — не более чем позднейший и вторичный продукт, внутренне усвоенная форма того общественного субъекта, коий единственно реален. И да будет сказано: сие не есть шаткое мнение, коим можно торговать на базаре мнений, но неопровержимая аксиома всякой подлинной системы, — аксиома, которую глупец отвергнет, но мудрец, подавив в себе обезьянью гордость собственной персоны, примет как соль и свет мироздания.

О субъекте же следует сказать еще вот что. Субъект — это всегда носитель сознания, познания и деятельной воли; он есть то, что, подобно некоему неумолимому пыточному колесу, воздействует на внешний мир, сей жалкий и призрачный объект. И в этом своем качестве субъект может являться то как отдельный человек, воображающий себя самодостаточным центром вселенной, — каковое заблуждение достойно лишь смеха и слез; то как группа людей, или же общество, или, наконец, весь род человеческий.

Итак, установив раз и навсегда это различие, введём те-

перь следующее определение, не терпящее никаких искажений.

Субъективным называется явление, наблюдаемое одним и только одним субъектом.

Это не метафора и не поэтическая вольность, а граница, проведённая самою природой субъекта. Все. Остальное логически выводится.

После сего возникает вопрос, составляющий камень преткновения для всех легкомысленных умов: *кто же есть я?*

Ответ, который следует из предыдущего, столь же прост, сколь и неопровержим:

я наблюдатель субъективных явлений.

Всякое иное толкование ведёт к бессмыслице, ибо пытаются выдать за «я» то, чем «я» не является.

Дабы рассеять последние сомнения, прибегнем к доказательству от противного — этому надёжнейшему оружию против софистики. Предположим обратное: будто субъективные явления наблюдаю не я. В таком случае их наблюдал бы *не-я*, то есть некто иной. А поскольку мир состоит из множества таких иных, то и наблюдателей оказалось бы множество.

Но здесь-то и кроется роковое противоречие: согласно нашему определению, субъективные явления суть то, что наблюдается **одним и только одним** субъектом. Множество же наблюдателей означает, что явление перестаёт быть субъективным, превращаясь в нечто общедоступное, а это нарушает само определение. Мы пришли к противоречию, сле-

довательно, наше предположение ложно. Что и требовалось доказать.

Таким образом, положение «я есть наблюдатель субъективных явлений» получает силу столь же несокрушимую, как законы мышления, и всякая попытка его оспорить есть лишь свидетельство неспособности к последовательному размышлению.

Однако здесь всякий, кто хоть однажды испытал на себе бремя собственного существования, вправе возразить, опираясь на личную, неоспоримую практику. Ибо я, например, отлично знаю, что далеко не всё своё время я занят этим бдением над субъективными явлениями. Напротив, значительная часть моего земного существования протекает в состояниях, к наблюдению совершенно неспособных: я сплю — и тогда сознание погружается в пустоту или в обманчивые тени сновидений; я забываюсь, отключаюсь, случается, падаю в обморок, и тогда мир исчезает для меня вовсе. В эти промежутки **я**, если пользоваться не строгими понятиями, как бы отсутствую.

Отсюда с неизбежностью встаёт вопрос, который нельзя обойти, не впад в лицемерие: *когда же именно я есмь «Я»?*

Трезвое наблюдение над самим собой, это беспристрастное испытание, показывает единственный ответ: **я только тогда называюсь «Я», когда нахожусь в сознании**. Вне сознания это слово лишается всякого значения. Попробуйте произнести «Я» в глубоком сне без сновидений — сама

попытка абсурдна. Бессознательно я в «Я» не бываю, подобно тому, как не может зеркало отражать собственное отсутствие.

Следовательно, всякое бытие «Я» совпадает с бытием сознания, и наоборот. Это не два разных явления, но одно и то же, схваченное с двух сторон. Посему мы вправе дать теперь окончательное и строгое определение, которое ляжет в основание всей дальнейшей онтологии:

Сознание есть то самое состояние, в котором справедливо утверждение: «я наблюдаю субъективное явление».

Вне этого состояния нет ни субъекта, ни субъективности, ни того, кто мог бы о себе сказать «я». И всякая метафизика, забывающая об этом простом факте, подобна зданию, возведённому на песке.

Ныне следует обратиться к одному из самых живучих и, вместе с тем, самых необоснованных предрассудков, которыми наука — эта гордая служанка обыденного рассудка — отяготила мыслящее человечество. Я говорю о принципе, что мир существует вне нашего сознания и независимо от него. На утверждение этого тезиса положены неисчислимые силы и десятилетия, даже столетия упорного труда. И что же?

Достаточно рефлексирующий человек — тот, кто не утратил способности удивляться, — непременно припомнит то детское изумление, которое впервые посетило его в школьные годы, когда ему торжественно возвестили: «Мир суще-

ствуует сам по себе, без тебя». Это изумление есть верный признак того, что разум ещё не окончательно подавлен авторитетом. Но затем, под непрерывным давлением того, что именуют «научным знанием», человек мало-помалу соглашается с этой догмой. Соглашается настолько прочно, что уже считает её само собою разумеющейся, не требующей доказательств, — как будто привычка может заменить истину.

Если же подойти к делу с той строгостью, которую требует философия, а не школьное легковерие, то немедленно обнаружится следующее: весь этот величественный тезис есть не более чем **гипотеза**, и притом гипотеза, никогда и никем не доказанная. Ибо каким образом могла бы наука — вся целиком, от первого до последнего своего положения — выйти за пределы того, чем она сама является? А наука есть не что иное, как определённое содержание сознания, определённый порядок, налагаемый нами на наши же представления. Каждое наблюдение, каждый эксперимент, каждый вывод совершаются в поле сознания и только в нём.

Следовательно, наука ровно ничего — подчеркнём это со всей возможной решительностью — ничего не может знать о том, что происходит, когда сознания нет. Утверждать, что мир продолжает существовать в отсутствие всякого сознания, значит приписывать себе знание о непредставимом состоянии. А это есть не что иное, как догматизм в самом худшем его смысле — догматизм, который, не имея никаких оснований, тем не менее требует всеобщего согласия.

Истинный мыслитель, в отличие от школьного учёного, предпочтёт честное незнание лживой уверенности. Он скажет: «Мне дан мир в моём сознании, и это несомненно. Всё, что сверх этого, есть дерзновенная игра ума, выдаваемая за истину». И с этим ничего не поделать, как бы ни возмущались те, кто привык к удобным иллюзиям.

Итак, дабы не впасть в недоразумение, столь частое среди тех, кто привык мыслить поспешно и ярлыками, следует прямо ответить на вопрос, который уже, без сомнения, возник в голове читателя: отрицаю ли я, что мир существует вне сознания? Отнюдь нет. Ибо отрицать недоказанное — значит впасть в столь же необоснованный догматизм, как и утверждать его. Моя позиция, если выразиться с предельной точностью, состоит в ином: **я лишь утверждаю, что вы мне этого не докажете**. И никогда не докажете, как бы ни пыжились.

Далее. Я отлично понимаю, сколь удобно и практично это утверждение — что мир продолжает существовать, когда я нахожусь вне сознания, то есть сплю, пребываю в обмороке или умер. С этой верой человек спокойно ложится спать, не опасаясь, что вселенная испарится до утра. С этой верой учёный препарирует труп, полагая, что его работа имеет смысл даже после смерти наблюдателя. С этой верой можно действовать, не впадая в головокружение. И я не столь жесток, чтобы отнимать у людей эту спасительную подпорку.

Более того. Если бы наука — это великое предприятие че-

ловеческого рассудка — объясняла всё, если бы в её здании не было ни трещин, ни тёмных углов, ни загадок, которые она вынуждена обходить молчанием, — тогда, возможно, мы согласились бы принять эту гипотезу как рабочее допущение, закрыв глаза на её недоказуемость. Но наука не объясняет всё. Более того, она не объясняет даже самое главное. Она умеет исчислять, взвешивать, предсказывать повторяющееся, но перед вопросом о том, почему вообще существует нечто, а не ничто, или перед вопросом о сознании как таковом, она вынуждена либо умолкать, либо делать жалкие жесты в сторону будущих поколений.

И здесь возникает подозрение, от которого мороз идёт по коже у всякого, кто способен мыслить самостоятельно: **не лежит ли именно в этом недоказанном и недоказуемом допущении — что мир существует вне сознания — самоограничение науки**, тот невидимый порог, за который она переступить не смеет? И не породило ли это самоограничение тот самый кризис, который ныне с очевидностью обнаруживает себя во всех основаниях научного знания?

В самом деле, если твёрдо верить, что мир существует сам по себе, независимо от всякого сознания, то неизбежно приходится объяснять само сознание как некое позднее и случайное порождение этого мира. Но тогда возникает порочный круг: сознание производится миром, который дан только в сознании. Это либо логический скандал, либо честное

признание в том, что фундамент здания покоится на песке. И пока наука упорствует в своей недоказанной вере, до тех пор кризис её будет лишь углубляться, и никакое накопление фактов не принесёт ей спасения. Ибо факты — они тоже в сознании, а не вне его.

После всего сказанного необходимо, наконец, ответить на вопрос, который, подобно дамоклову мечу, висит над всякой метафизикой: *как возникает это «Я»?* Не кажущееся «Я», не выученное, не навязанное обычаем, но подлинное — то, которое наблюдает субъективные явления.

Для этого оставим на время привычное представление, будто субъект всегда есть нечто единичное, размером с человеческое тело. Ничто не мешает нам, кроме косности мышления, помыслить субъект как иную величину. Пусть субъектом будет **некоторая социальная группа**. И пусть существует нечто, что наблюдается каждым членом этой группы — но при этом принципиально, по самой своей природе, недоступно никому, кто к этой группе не принадлежит.

Тогда, согласно данному ранее определению, это «нечто» есть не что иное, как **субъективное явление**, ибо оно наблюдается одним и только одним субъектом. А именно — данной социальной группой, взятой как целое.

И вот что отсюда следует, и это следует принять, как бы ни восставала против этого привычка к одиночному «Я»: эта социальная группа, выступающая в роли наблюдателя недоступного другим «нечто», обретает собственное «Я». Не в

переносном смысле, не как поэтическая метафора, но в строгом значении этого слова. Сие есть **самоидентификация группы**. Когда группа наблюдает то, чего никто другой наблюдать не может, она есть «Я». И больше никакого «Я» у неё нет.

Более того. Состояние, в котором группа наблюдает это своё сокровенное «нечто», есть не что иное, как **сознание группы**. И это значит, что все члены данной группы, будучи хотя и порознь отдельными людьми, в акте этого наблюдения находятся в *одном и том же* состоянии сознания. И эта картина, заметьте, выглядит совершенно одинаково — описывайте ли вы её от первого лица («я вижу победу») или от третьего («мы видим победу»). Различие здесь только в словесной одежде, но не в сути дела.

Здесь неизбежно восстанет читатель, ещё не вполне освободившийся от оков индивидуалистического предрассудка. Он воскликнет: «Но это же нелепость! Я — один. Как группа может быть мной? Где же тут моя неповторимая единичность, моё сокровенное одиночество?»

На это я отвечу не длинным рассуждением, но коротким вопросом, который каждый должен задать самому себе. Ответ, если сможешь честно: *ты когда-нибудь болел за команду?*

Представь. Твоя команда забивает гол, не как прошедшее время как настоящее. Ты видишь это. Рядом с тобой стоит фанат команды соперника. Он видит *то же самое событие*

— полёт мяча, движение игроков, падение вратаря. Вы оба видите один и тот же набор движений в пространстве и времени. И тем не менее, утверждаю я, вы наблюдали **разное**.

Ты наблюдаешь *победу*. Он наблюдает *поражение*.

И вот это разное — победа здесь, поражение там — принципиально недоступны друг другу. Ты не можешь наблюдать его поражение, как бы ни старался. Он не может наблюдать твою победу, даже если ты будешь описывать его самыми яркими словами. Он может *понять* умом, что ты чувствуешь, но *наблюдать* твою победу как свою — никогда.

Теперь ответь: кто наблюдал победу? Ты один?

Нет. Ты и все, кто болеет за твою команду. Все они наблюдают *ту победу*, которая закрыта для чужих. Вы — в этот миг — не множество отдельных «Я». Вы — **один субъект**. Ваше «Я» — общее. Ибо наблюдаемое вами, это «нечто», по определению не наблюдается никем другим. А что наблюдается одним и только одним субъектом, то и образует его подлинное «Я».

Различие же между индивидом и группой есть различие не сущности, а только **границы**. Индивид — это случай, когда граница проходит между тобой и всеми остальными людьми, где каждый сам за себя. Группа — это случай, когда граница проходит между «нами» и «ими», где внутреннее пространство становится общим, а внешнее — чужим.

Это не два разных феномена. Это **один феномен на разных уровнях**. Как вода остаётся водой — и в капле, и в оке-

ане, и в паре, — так и «Я» остаётся «Я»: и у одного человека, и у многих, соединённых общим наблюдением.

И теперь, надеюсь, становится понятным, что значит исходная аксиома: *сознание первично не индивидуально*. Она не отрицает тебя, испуганный читатель. Она не пытается растворить твою драгоценную единичность в безликой массе. Напротив: она **объясняет, откуда ты вообще взялся**. Ибо прежде, чем научиться говорить «Я» о себе одном, ты научился говорить «Мы» — там, где граница проходила между твоим родом и чужим, между твоей стаей и чужой. Индивид есть лишь позднейшая дифференциация внутри этого первичного коллективного сознания. И кто этого не видит, тот, подобно человеку, изучающему океан по одной-единственной капле, обречён на жалкое и неполное знание.

Что не так с научным наблюдением

Теперь, после того как мы установили природу «Я» и сознания, следует обратиться к тому печальному зрелищу, которое представляют собой так называемые «науки», когда они сталкиваются с вопросом о наблюдателе. Ибо здесь, как нигде, обнаруживается то жалкое состояние, в которое привело себя человеческое познание, возомнившее, будто можно мыслить мир, забыв при этом о самом мыслящем.

В чем состоит пресловутая проблема научного наблюдения? Она формулируется примерно так: к процессу наблюдения предъявляется требование — о, какое благородное и вместе с тем наивное требование! — исключить влияние наблюдателя на результаты наблюдения. Ибо, как мнится этим господам в лабораторных халатах, только тогда результаты будут «очищены от субъективных наносов». Они мечтают о некоей чистой, девственной реальности, которая явила бы себя сама по себе, без всякой примеси того, кто на неё взирает.

При этом они, скрепя сердце, признают, что избавиться от субъективности практически невозможно. Но *почему* невозможно — этого они не объясняют, да и не могут объяснить, ибо объяснение потребовало бы от них заглянуть в собственные основания, а на это у них не хватает ни смелости, ни привычки к строгой мысли. Они принимают эту невозможность как досадный, но неизбежный дефект своего ремесла

— примерно так, как сапожник мирится с тем, что кожа всегда имеет изъяны. Но философ, в отличие от ремесленника, обязан спросить: *отчего же так?*

Ответ, который мы уже подготовили всей предыдущей цепью рассуждений, прост до оскорбительности. Субъективность не есть случайная помеха, не есть грязь, которую можно смыть, если как следует постараться. Субъективность есть само условие возможности всякого наблюдения. Ибо наблюдать — значит иметь сознание, а сознание, как мы показали, есть состояние «я наблюдаю субъективное явление». Убрать наблюдателя — значит убрать само наблюдение. Очистить результат от субъективности — значит пожелать видеть невидящими глазами. Это требование столь же разумно, сколь требование нарисовать круг, который был бы одновременно и квадратом.

Но если в так называемых «классических» науках это заблуждение носит ещё довольно безобидный характер, то в квантовой физике, этой гордости нашего века, оно оборачивается настоящим умственным бедствием. Ибо там, как известно всякому, кто хоть раз заглядывал в эти мрачные глубины, с этим вообще грустно. Якобы просто от присутствия или отсутствия — внимание! — квантового наблюдателя включаются или выключаются сами физические законы.

Вслушайтесь в эту мысль, ибо она достойна либо глубочайшего презрения, либо священного ужаса. Если наблюда-

тель есть — мир подчиняется законам классической механики, той самой, где царит порядок, предсказуемость и причинность. Если же наблюдателя нет — тот же самый мир, словно капризное дитя, перестаёт подчиняться этим законам и начинает вести себя по законам оптики, то есть как волна, размазанная по всему пространству, нигде и везде одновременно.

Что это означает, если перевести с учёного жаргона на человеческий язык? А означает это вот что. **Самые фундаментальные законы природы, которые, по заверению учёных, управляют всем сущим, включаются и выключаются в зависимости от того, есть ли кто-то, кто на них смотрит.** Мир, когда его не видят, ведёт себя не так, как мир, когда его видят. Присутствие сознания — этого, заметьте, «субъективного наноса», который они так тшатаются устранить — меняет сам строй физической реальности.

И это говорят те же самые люди, которые требуют исключить влияние наблюдателя на результат, дабы получить «объективную» картину. Они хотят исключить наблюдателя, но при этом вынуждены признать, что без наблюдателя мир ведёт себя совершенно иначе — и эти инаковости они даже снабдили разными названиями и разными уравнениями. Они выгоняют сознание в дверь, а оно возвращается в окно, да ещё и в образе властелина, который решает, каким законам изволит подчиняться мироздание.

Какая же из этого следует мораль для всякого, кто не по-

терял способности мыслить? А вот какая. Тщетна мечта науки о мире, очищенном от субъекта. Ибо субъект — не случайный гость в этом мире, не паразит, искажающий чистую картину бытия. Субъект есть условие, при котором вообще возможна какая бы то ни было картина. Требование исключить наблюдателя из наблюдения есть не просто техническая трудность — это **логическая ошибка**, ошибка, которая, будучи доведена до своего предела, как в квантовой физике, обнаруживает свою полную несостоятельность. Мир без наблюдателя не есть «более истинный» мир; он есть мир, о котором мы не можем сказать ровно ничего, кроме того, что в нём, по иронии судьбы, действуют совсем другие законы. И это признание, сделанное самой строгой из наук, стоит дороже любых философских трактатов.

После всех этих отвлечённых рассуждений полезно, наконец, обратиться к самому обыденному примеру, дабы показать, что наша метафизика не витает в заоблачных высях, но пронизывает собою каждое, даже самое ничтожное мгновение повседневной жизни. Ибо истинная философия должна выдерживать испытание простотой, а не только глубиной.

Рассмотрим следующую ситуацию, доступную каждому, у кого есть глаза и способность смотреть вверх. Некая группа людей наблюдает небо. Цель их проста и незамысловата — обнаружить самолёт. Они всматриваются в голубую пустоту, каждый сам по себе, но соединённый общей задачей. В какой-то момент один из них вскрикивает: «Вон, вижу само-

лёт!» — и указывает рукой в определённую сторону.

И вот здесь начинается то, что для поверхностного наблюдателя есть лишь незначительный бытовой эпизод, а для нас — драгоценное свидетельство. Остальные начинают смотреть в указанном направлении. И что же? Одни самолёт *увидели*, а другие — нет, как ни напрягали зрение. При этом те, кто увидел, немедленно начинают обмениваться друг с другом подробностями: «Вон, смотри, как он блестит на солнце», «Он пересекает то маленькое облачко», «У него, кажется, два двигателя». Они уточняют ориентиры, подтверждают увиденное друг другу.

Что произошло в этот момент с теми, кто увидел самолёт? Они, согласно нашей прежней строгой терминологии, **вошли в одно состояние сознания**. Ибо они наблюдают одно и то же явление — не просто физический объект «самолёт», но явление, которое субъективно для всей этой группы, для всех, кто может сказать «я вижу самолёт». Это «нечто» — видимый самолёт — принципиально недоступно тем, кто его не видит. Вы можете описывать им его положение словами, но передать само видение, само присутствие этого серебристого тела в небе — никогда. Следовательно, это «нечто» есть субъективное явление, наблюдаемое одним и только одним субъектом — а именно, группой тех, кто видит.

А что же те другие, которые смотрят в ту же сторону, но самолёта не видят? Находятся ли они в состоянии сознания? Безусловно. Они не спят и не в обмороке. Но их состояние

сознания — *иное*. Они наблюдают небо, облака, может быть, птицу или просто голубизну. Но они не наблюдают того, что наблюдают первые. Поэтому о них можно сказать так: они что-то наблюдают, да, но не в том состоянии сознания, в котором самолёт видно.

Одни — те, кто видит, — **осознают наличие самолёта**. Для них самолёт есть, он дан, он присутствует в их мире с той же несомненностью, с какой для присутствующих в комнате присутствует этот стул. Другие же, кто смотрит в ту же точку и видит только пустоту, не осознают его наличия. Для них самолёта нет. И пока они не начнут видеть — то есть пока их зрение не перестроится, пока они не поймут, куда именно смотреть, — они будут пребывать в неведении, которое никакие описания не могут устранить.

Вот перед вами, во всей своей простоте, механизм возникновения и разделения сознаний. Группа «видящих самолёт» образует один коллективный субъект с общим «Я» — ибо они наблюдают одно, недоступное другим. Группа «не видящих» — точнее множество отдельных субъектов, каждый со своим частным наблюдением пустого неба. И горе тому, кто попытается доказать невидящему, что самолёт «объективно существует». Ибо для невидящего он не существует ровно до того момента, пока его глаз не научится различать то, что видят другие. А научится он этому, только войдя в их состояние сознания — то есть начав наблюдать то же самое субъективное явление.

Так обыденный пример вскрывает онтологическую структуру, которая в иных обстоятельствах остаётся скрытой за толщей привычки. И тот, кто однажды понял этот пример, понял всё.

Теперь, дабы никто не мог упрекнуть нас в том, что мы обходим стороной те требования, которые наука предъявляет к наблюдению, следует воздать должное справедливости. Ибо наука, при всех её заблуждениях, всё же не столь наивна, как может показаться. Она, по крайней мере, подразумевает в акте наблюдения нечто большее, нежели простое разглядывание. От наблюдения она требует **целесообразности, преднамеренности, планомерности, систематичности** — словом, всего того, что отличает осознанное действие от случайного взгляда. В этом она права, хотя и не умеет обосновать свою правоту.

Я же, в отличие от этих господ, не стану ничего «подразумевать», ибо подразумевание есть лазейка для недомыслия. Я докажу теорему, и докажу её с той строгостью, какая приличествует геометрии. Теорема же эта гласит следующее:

Осознание результата необходимо для его однозначности.

Звучит просто, но за этой простотой скрывается пропасть, в которую наука боится заглянуть. Приступим к доказательству.

Предположим противное тому, что требуется доказать. Предположим, что для некоторой группы, которую мы мыс-

лим, как единый субъект, результат наблюдения **однозначный**. То есть все они согласны с тем, что в результате никакой двусмысленности нет. При этом, однако, допустим, что этот результат группой **не осознаётся**. Что это означает — «не осознаётся»? А означает это, согласно всем предыдущим определениям, что они не находятся в одном состоянии сознания относительно этого результата. Ибо осознание, как мы показали на примере с самолётом, есть не что иное, как пребывание в том состоянии сознания, где данное явление присутствует как наблюдаемое всеми.

Но если они не находятся в одном состоянии сознания, то, по определению субъекта, они не наблюдают этот результат как **субъективное явление группы**. Ибо субъективное явление группы есть именно то, что наблюдается всеми членами группы совместно, образуя их общее «Я». Если же этого совместного наблюдения нет, то каждый из них наблюдает нечто своё.

И здесь мы подходим к решающему пункту. Если результат наблюдения у каждого свой — как субъективное явление, наблюдаемое одним и только одним индивидуальным субъектом, — то для **других** членов группы этот результат является **иным**. Ибо то, что вижу я один, ты, находящийся в ином состоянии сознания, не видишь. Для тебя мой результат не имеет никакого значения, ибо он тебе не дан. Он для тебя — пустой звук, моя фантазия, нечто, не заслуживающее доверия. Каждый остаётся при своей субъективной опреде-

лѐнности, которая для другого есть неопределѐнность. Следовательно, об однозначности не может быть и речи.

Мы получили явное противоречие. Мы предположили, что результат однозначен, но пришли к тому, что он у других не такой как у меня, то есть не является однозначным. Следовательно, наше исходное предположение ложно. Значит, истинно обратное: если результат однозначен, то он необходимо осознаётся группой.

Что и требовалось доказать.

Вот какова сила строгого рассуждения. Наука подразумевает осознанность, но не может её обосновать, отчего всё её здание висит в воздухе. Мы же доказали, что без осознания нет и не может быть никакой однозначности, а без однозначности нет никакого научного факта. Ибо научный факт есть нечто, с чем согласны все компетентные наблюдатели. Но согласие это, как мы только что показали, есть не что иное, как пребывание в **одном состоянии сознания** — то есть коллективное «Я», наблюдающее субъективное явление. И горе той науке, которая это отрицает: она отрицает саму возможность своего существования.

Теперь же, вооружившись этой железной теоремой, обратим свой взор к тому скандалу в физике, который они называют «двухщелевым экспериментом». Ибо здесь наше утверждение предстаёт не как отвлечѐнная спекуляция, но как приговор самой природе.

Вот к чему сводится их знаменитый парадокс. Некий

квантовый объект — например, электрон, эта жалкая точка, лишённая даже той доли реальности, какую мы привыкли приписывать пылинке, — направляется к преграде с двумя прорезями. Когда за этой преградой ставят экран, фиксирующий удар, то выясняется следующее. Если мы не знаем, через какую именно щель прошёл электрон, экран показывает распределение, свойственное волне, которая прошла одновременно через обе щели. Но стоит нам — о, коварство! — с помощью детектора попытаться осознать, через какую щель пролетела частица, как волшебное распределение исчезает, и экран фиксирует две грубые кучи, как если бы электрон был пулей, которая выбрала только одну щель.

Что же это означает для мыслящего ума? А означает оно в точности то, о чём мы сказали выше: осознание результата необходимо для его однозначности.

Пока я, великий и убогий субъект, не осознаю, через какую щель прошёл электрон, я не имею права утверждать о нём ничего определённого. И природа, следуя не моей прихоти, но логике самого бытия, оставляет его в состоянии неоднозначности — в этом отвратительном «ни там, ни здесь, но везде». Электрон пребывает в том первичном хаосе возможностей, который на их жаргоне зовётся «волновой функцией». Ибо, повторяю, не имея осознания пути, я не могу сказать: «он прошёл либо здесь, либо там». Я должен молчать. А там, где я молчу, мир тоже не обретает голоса.

Но как только моё сознание — это проклятое око, которое

нельзя вырвать, не разрушив мир — удостоверяется: «Вот! Он пошёл через левую щель!» — тогда и только тогда однозначность вступает в свои права. Ибо теперь результат осознан мной. И мир, подчиняясь той самой теореме, которая выше доказана с геометрической строгостью, обретает определённую. Электрон, словно испуганный слуга, услышавший оклик хозяина, прекращает свои волновые пляски и являет себя как частица, как единичное, как это, а не всякое.

Вот теперь мы можем спуститься с высот чистой теории на твёрдую землю практической пользы — ибо философия, которая ничего не объясняет в делах человеческих, подобна дереву, не приносящему плодов. Наша теорема имеет не только умозрительное, но и самое непосредственное **практическое значение**. И лучшим тому подтверждением служит область, менее всего склонная к философским вольностям, — область метрологии, то есть науки об измерениях.

Возьмём в руки любой серьёзный труд по этой дисциплине. Например, учебник Шишкина И.Ф. «Теоретическая метрология», где в первой части излагается общая теория измерений. И что же мы там обнаруживаем? В этом почтенном сочинении, предназначенном для обучения умудрённых техников, формулируется третья аксиома метрологии. И звучит она следующим образом, запомним эти слова:

«Результат измерения без округления является случайной величиной».

Вслушаемся в эту фразу. Она провозглашается как **акси-**

ома — то есть как нечто, не требующее доказательств и лежащее в основании всей науки об измерениях. Метрология, эта гордая царица точности, признаёт, что сырой, необработанный результат измерения — до того, как с ним совершат некое действие, — есть нечто случайное, то есть неопределённое, «на самом деле может быть что угодно». И только после того, как над ним совершат операцию **округления**, он превращается в нечто фиксированное, имеющее определённое значение.

Что же такое это округление? Округление, если посмотреть на него не глазами инженера, а глазами философа, есть не что иное, как **действие осознания**. Округление совершается сознанием — будь то сознание отдельного человека или, что чаще, коллективное сознание научного сообщества, которое договаривается о том, до какого знака округлять. И это действие, заметьте, превращает неоднозначность случайности — этот ужасный хаос, где «может быть что угодно», — в однозначное, твёрдое, измеренное значение.

И вот что поразительно, что должно привести в восторг всякого, кто способен соединять разрозненные истины. То, что в метрологии — в этой строгой, технической, лишённой всякой метафизической претензии дисциплине — провозглашается **аксиомой**, то есть недоказуемым основанием, в философии, как мы только что показали, является **теоремой**. Мы доказали, что осознание результата необходимо для его однозначности. Метрология же принимает это за ак-

сиому, не доказывая, но и не имея возможности обойтись без этого. Она округляет — и тем самым, сама того не ведая, подтверждает наш тезис.

Какая же ирония! Естественные науки и их прикладные дисциплины, которые так любят свысока поглядывать на «бесплодную» гуманитарную философию, на каждом шагу опираются на истины, которые философия способна не только сформулировать, но и строго доказать. Они принимают их как аксиомы — то есть как нечто, данное свыше или от природы, — а мы, философы, выводим их с необходимостью из первых принципов. И если бы метрология когда-нибудь осознала, что её третья аксиома есть не что иное, как частный случай нашей теоремы об осознании, она, быть может, перестала бы смотреть на философию с тем высокомерным презрением, которое столь часто встречается в этих кругах. Но этого не случится, ибо осознание, увы, требует того самого действия, которого они так боятся и без которого, как мы видели, не обойтись.

Из доказанной теоремы, которая отныне должна стать краеугольным камнем всякого учения о познании, мы с необходимостью получаем следующее определение. И пусть оно покажется слишком простым тем, кто привык к многословию, — ибо истина всегда проста, а ложь нуждается в украшениях.

Цель наблюдения есть не что иное, как что-то осознать.

Вот и всё. Всякое наблюдение, лишённое этой цели, есть пустое времяпрепровождение, рассеянный взгляд, не заслуживающий имени наблюдения. Осознать — значит зафиксировать, значит перевести неопределённое множество возможностей в единственный актуальный факт, значит сказать: «это есть именно так, а не иначе». И без этого акта наблюдение не достигает своей цели.

Теперь взглянем на то, что творит под именем «научного наблюдения» современная практика — особенно в тех областях, которые мнят себя самыми точными. Что мы видим? Эта практика, одержимая манией чистоты, пытается **исключить из наблюдения субъективность**. Она хочет получить результат, который не зависел бы от наблюдателя, от его сознания, от его осознающего акта. Она требует, чтобы наблюдатель был невидим, неслышим, неосязаем — чтобы его присутствие никак не сказывалось на том, что он наблюдает.

Но что же происходит при этом? Исключая субъективность, она по необходимости исключает и **осознанность**. Ибо осознанность, как мы показали, есть именно субъективное состояние — состояние «я наблюдаю субъективное явление». Уберите субъекта — и осознавать станет никому. Оставьте субъекта, но заставьте его быть «чистым», «не вмешивающимся», «объективным» — и вы лишите его того единственного действия, ради которого он вообще поставлен наблюдать. И тогда, как легко догадаться, цель наблюдения — «осознать» — оказывается недостигнутой.

Каков же плод этого безумного предприятия? А плод его — фатальные ошибки и тот самый **кризис**, который ныне открыто признаётся даже самыми упёртыми адептами науки, хотя причины его они, разумеется, видят не там, где следует. Возьмите, например, физическую картину квантового мира — этого позорного столпа современного естествознания. Что мы там обнаруживаем? А обнаруживаем мы картину, в которой царствует всеобщая **неопределённость**. В ней нет твёрдых фактов, нет однозначных состояний, нет того, что можно было бы осознать без остатка. В ней частица одновременно здесь и там, кошка одновременно жива и мертва, и всякая попытка сказать «это есть именно так» натывается на принципиальный запрет, возведённый в ранг закона природы.

И каждый результат наблюдения в этом мире, как торжественно заявляют сами физики, есть **случайность**. Не осознанный факт, а выпавшее число. Не «я увидел то-то», а «с вероятностью столько-то произошло это, а могло произойти и другое». Случайность, заметьте, есть та самая неоднозначность, которую мы в теореме поставили в прямую противоположность осознанности. Там, где нет осознания, там царит случайность. И физики, исключив из своего наблюдения субъективность, получили ровно то, что заслужили: мир, в котором нет места осознанию, ибо они сами вышвырнули его за дверь.

И этот кризис не есть временное затруднение, которое

разрешится следующим великим открытием. Это есть **системный кризис** — неизбежное следствие ложной установки, заложенной в основание. Пока наука будет стремиться исключить субъективность, она будет исключать осознанность. А пока она исключает осознанность, она не будет достигать цели наблюдения. А не достигая цели, она будет получать неоднозначные, случайные, неопределённые результаты. И чем точнее она будет стараться быть, тем отчётливее проступит этот порок в её основании.

Физика квантового мира, со всеми её парадоксами и нелепостями, есть не что иное, как **зеркальное отражение** этого методологического греха. Она видит мир неопределённым потому, что смотрит на него неосознанными глазами. Она получает случайность потому, что боится осознать. И если бы она, подобно нам, осмелилась утвердить осознание как необходимое условие однозначности, она, быть может, увидела бы, что квантовые «законы» — это не свойство природы, а свойство её собственной слепоты. Но на это она не пойдёт, ибо признать это означало бы признать, что философия стоит выше физики, — а это для гордого естествоиспытателя хуже смерти.

Нет ничего практичнее философии

Теперь, оставив на время эти технические тонкости — округления, случайности и квантовую неопределённость, — обратим свой взор к предмету, который на первый взгляд кажется далёким от нашей метафизики, но на поверку оказывается её самым прямым продолжением. Я говорю о том, что русская мысль — эта суровая и неприкрашенная мысль народа, который не привык к роскоши праздного умозрения, — породила два вопроса, кои справедливо почитаются **фундаментальными вопросами русской жизни**.

Вопросы эти суть: «Кто виноват?» и «Что делать?».

Вслушайтесь в них. Они звучат как стон, как крик, как требование немедленного облегчения. И именно это требование — требование **практичного ответа** — порождает ту роковую иллюзию, которая вот уже который век отравляет русскую мысль. Иллюзию, будто вопросы эти — **житейские**, то есть такие, на которые можно ответить действием, распоряжением, наказанием или реформой. Будто достаточно найти виновного и придумать план — и всё наладится. Какое детское заблуждение! Вопросы эти, если посмотреть на них без спешки и без той судорожной жажды «применить немедленно», суть вопросы **философские** в самой своей основе.

Как гласит старая и мудрая поговорка, которую я всегда

с удовольствием повторяю тем, кто презирает отвлечённое знание: *нет ничего практичнее хорошей теории*. Я же, идя дальше и не боясь показаться дерзким, продолжаю: **нет ничего практичнее философии**. Ибо хорошая теория есть лишь приложение философии к ограниченной области. Но откуда же тогда берётся столь распространённое мнение, будто философия бесполезна? А происходит оно оттого, что сама философия, в своём подлинном виде, есть не книжная выдумка, а **практика философа**. Это есть образ жизни, способ существования, определённое состояние сознания, в котором пребывает мыслящий. И этой практики — увы! — чаще всего нет у тех, кто берётся судить о философии. У них есть книги, дипломы, учёные степени, но нет той внутренней работы, того неусыпного бдения, которое одно только и делает человека философом. Поэтому философия кажется им бесполезной — подобно тому, как рыболовные снасти кажутся бесполезными тому, кто никогда не был на воде.

Но вернёмся к нашим двум вопросам. Сама их раздвоенность — то, что они существуют как два, а не как один — порождает губительное впечатление. Создаётся иллюзия **последовательности**: сначала, мол, следует выяснить, кто виноват, а потом, на основании этого выяснения, думать, что делать. Сначала анализ, потом синтез. Сначала диагноз, потом лечение. Всё это звучит так разумно, так по-деловому, так по-житейски правильно! И именно поэтому это глубоко ложно.

Ибо эти вопросы, в их раздвоенном виде, перестают быть одним **предельным вопросом**. А философский вопрос, как известно всякому, кто хотя бы раз прикасался к настоящей мысли, есть всегда вопрос предельный — такой, за которым уже нечего спрашивать, ибо он обнимает собою всё. А здесь — два, да ещё и расположенные во времени. Это уже не философия, это канцелярия. И потому эти вопросы, несмотря на их крикливую срочность, **не кажутся философскими** тем, кто привык к философии книжной и отвлечённой.

И вот здесь, когда все уже отчаялись найти в этих вопросах что-либо, кроме житейской суеты, мы должны показать, что они возникают **естественным образом** — и не где-нибудь, а в самом сердце нашего гуманитарного метода. Они возникают ровно в тот момент, когда мы определяем **цель наблюдения субъективного явления**.

До сих пор мы говорили о цели наблюдения в самой общей, почти пустой форме: «что-то осознать». Это было необходимо, дабы не впасть в преждевременную конкретность, которая всегда есть мать заблуждения. Но теперь, когда основания заложены, мы обязаны эту цель **конкретизировать** — ибо общее без частного подобно скелету без плоти. И конкретизация эта, как нетрудно догадаться, прямо вытекает из природы того, что мы наблюдаем.

Субъективное явление, напомним, есть то, что наблюдается одним и только одним субъектом. Всякий раз, когда я имею дело с таким явлением, цель наблюдения, если только

оно вообще имеет смысл, не может быть какой попало. Она должна быть именно такой:

осознать, что я сделал.

Докажем это со всей строгостью, на какую способно человеческое мышление. И дабы избежать той путаницы, которую порождают однокоренные слова, когда «я», «себя» и «своё» начинают плясать в бесконечной рефлексии, условимся раз и навсегда. Других субъектов, тех, кто не есть я, назовём просто и грубо: **другие**. А того субъекта, которого мы рассматриваем — того, кто задаёт вопрос о цели, — назовём, без ложной скромности, **мной**.

Теперь приступим.

Предположим, что кто-то осмелится утверждать, будто имеет смысл иная цель, а именно: «осознать, что сделали другие, что я теперь наблюдаю субъективное явление». Разберём это предположение, ибо в нём кроется либо глупость, либо подлог.

Поскольку явление, которое я наблюдаю, есть явление **субъективное**, то есть данное только мне и никому более, то другие, по самому определению, **не могут его наблюдать в принципе**. Им оно недоступно, как недоступны слепому краски, а глухому — звуки. Следовательно, они не могут вызывать это явление по своей воле, ибо чтобы вызвать что-то по воле, нужно знать, что именно ты вызываешь. А знать этого они не могут, ибо не видят. В лучшем случае они могут **подтолкнуть** к неким действиям, которые приведут к

появлению у меня субъективного явления, но само явление останется для них потёмками. Итак, первый вывод: другие не суть причина моего субъективного явления в подлинном смысле слова.

Но, быть может, их к этому подталкивают третьи? Предположим и это. Тогда мы получаем в точности ту же самую ситуацию, только с другими именами. Кто-то кого-то подталкивает, но никто не осознаёт того, что наблюдается мной как субъективное явление. Вопрос «что сделали другие» оказывается в лучшем случае вопросом **промежуточным**, то есть таким, который отсылает к дальнейшему рассуждению, но сам по себе не даёт ответа. Это вопрос **теоретический**, а не практический. Ибо, рассуждая о том, что сделали другие, мы всё равно вынуждены будем спросить далее: а что же привело к этому? И так до бесконечности, пока не упрёмся в единственное оставшееся звено — в меня.

Теперь предположим иное. Предположим, что подталкиваю других — я. Здесь открываются два, и только два, возможных случая, и третий не дан.

Первый случай. Мне не удалось осознать, чем именно я их подтолкнул. Я не знаю, что я сделал. Моё действие осталось для меня самым неосознанным — я действовал как автомат, как во сне, как под гипнозом. В этом случае, и это следует принять с холодной ясностью, **я ничего в отношении других по своей воле сделать не могу**. Ибо воля без осознания того, что ты делаешь, есть не воля, а слепой по-

рыв. Наблюдение субъективного явления становится для меня состоянием, от меня не зависящим, — оно приходит и уходит, как погода, как прилив, как болезнь. И всё, что мне остаётся, — это **жить с этим**, терпеть, страдать или радоваться, но не управлять.

Второй случай. Мне удалось осознать, что я сделал. Я знаю: «вот это моё действие привело к тому, что другие повели себя так-то, и в результате возникло то субъективное явление, которое я наблюдаю». В этом случае я обретаю могущество. Я могу **произвольно влиять на других** — чтобы наблюдать желаемое субъективное явление или, напротив, чтобы его не наблюдать. Я становлюсь хозяином положения. Ибо осознание, как мы уже доказали, есть условие однозначности, а однозначность есть условие повторяемости, а повторяемость есть условие практического действия.

Теперь рассмотрим последнюю возможность. Пусть другие **не являются причиной** наблюдения мной субъективного явления. В этом случае явление возникает как бы само собой, без посредства чужих действий. Что тогда? Тогда, как нетрудно видеть, мне остаётся только одно: пытаться осознать, **что я сделал** — быть может, не по отношению к другим, а по отношению к миру, к обстоятельствам, к самому себе. И здесь исход может быть двояким. В случае неудачи — я практически ничего не могу поделать, остаюсь игрушкой стихий. В случае удачи — именно **практически** могу: могу вызывать или предотвращать явление своей волей, ибо

знаю, какое моё действие к нему ведёт.

Итог нашего рассуждения, который следует выжечь огнём на скрижалях памяти, таков:

Цель наблюдения субъективного явления — «осознать, что я сделал» — является для меня одновременно и практической, и философской.

Практической — потому что без этого осознания я бессилен, а с ним я обретаю власть над своей жизнью. Философской — потому что этот вопрос упирается в предельные основания моего бытия как субъекта, как того, кто наблюдает и действует. И именно эта цель, и никакая другая, воплощает в себе те самые «вечные» русские вопросы, о которых мы говорили ранее: **кто виноват и что делать.**

Ибо «кто виноват?» в применении к субъективному явлению — это вопрос «что я сделал такого, что это явление возникло?». А «что делать?» — это вопрос «что мне сделать такого, чтобы это явление повторилось или исчезло?». Оба они сливаются в едином требовании: **осознай своё собственное действие.** Без этого осознания вина размазывается по всем и ни по кому конкретно, а делание превращается в суету.

Так что, вопреки мнению тех, кто считает русскую философию чем-то туманным и далёким от жизни, я утверждаю обратное: **нет ничего практичнее русской философии.** Ибо она, в лице этих двух вопросов, схватила самую суть практического разума — суть, которую мы теперь выве-

ли строгим путём из нашей теоремы об осознании. Русская мысль, сама того часто не ведая, пришла к тому же, к чему приходит всякий, кто последовательно мыслит природу субъективного наблюдения. И если бы наши так называемые «практики» — политики, хозяйственники, реформаторы — усвоили этот простой урок, они бы перестали метаться в поисках внешних виновных и внешних рецептов, а обратились бы внутрь: к осознанию того, что именно они сами сделали, чтобы привести мир в то состояние, которое их не устраивает. Но этого не случится, ибо осознание, как мы знаем, есть самое трудное и самое редкое из всех человеческих дел.

Гуманитарный метод: как возникает философия

Теперь, после столь долгих и, смею надеяться, небеспользуемых рассуждений о природе субъекта, сознания, наблюдения и осознания, мы неизбежно подходим к вопросу, который для всякого, кто берётся за перо, есть вопрос о самом себе. Я говорю о вопросе: **что же такое, собственно, философия?** И каково её место среди прочих занятий человеческого ума, которые с некоторых пор принято называть «науками»?

Надо признать, что здесь нас ожидает зрелище, достойное скорее комедии, чем серьёзного размышления. Ибо наука — эта гордая, самодовольная, всё измеряющая и всё классифицирующая инстанция — в природе философии **так и не определилась**. И не потому, что ей не хватает фактов или приборов, а потому, что сама постановка вопроса лежит за пределами её компетенции. Но признать это значило бы для неё унижение, а потому она предпочитает делать вид, что вопроса не существует.

Каков же результат этого многолетнего притворства? А результат таков, что здесь, в этом вопросе, воцаряется **полная свобода**. И это не фигура речи, но констатация факта. Любое определение философии имеет право на существование.

ние, ибо нет высшего суда, который мог бы это право оспорить. Физика не скажет философии, чем ей быть; химия не укажет ей границ; биология не вынесет приговора. И это, заметьте, не торжество философии, а скорее её позор — ибо то, что может быть чем угодно, обычно оказывается ничем.

Но главное, что остаётся неясным — и именно эта неясность терзает умы всех, кто хоть раз сталкивался с университетской иерархией знаний, — это **место философии в системе знаний**. Куда её приткнуть? Что с ней делать? Какую полку на книжном шкафу человеческого познания ей отвести?

И здесь мы наблюдаем два противоположных маневра, оба одинаково нелепые.

Первый манёвр. Философию надвигают на место науки. Её начинают учить «научной философии», требуют от неё экспериментов, верификации, фальсификации, математического аппарата и прочих атрибутов, которые уместны в физической лаборатории, но смешны в мыслительной мастерской. В результате становится неясно, где начинается одно и где заканчивается другое. Философ притворяется учёным, учёный притворяется философом, и оба делают это одинаково плохо.

Второй манёвр. Философию отодвигают от науки так далеко, как только возможно. Её объявляют «метафизикой» в самом дурном смысле этого слова — то есть пустой болтовнёй о том, чего нет и быть не может. Связи с наукой не про-

смаатриваются вообще. Философия становится либо историческим курьёзом, либо эскапистским хобби для тех, кто не способен к «настоящему» — то есть научному — мышлению. В результате философы говорят что-то своё в полной изоляции, а учёные их не слышат и не хотят слышать.

И вот, посреди этой всеобщей неразберихи, когда каждый волен определять философию как ему заблагорассудится, а её место остаётся предметом бесконечных споров, я беру на себя смелость предложить такое определение места философии, которое, как мне кажется, удовлетворит всех. Ибо оно обладает тремя неоспоримыми достоинствами.

Во-первых, при таком определении философия **никому не мешает**. Она не вторгается на территорию науки, не пытается командовать физиками, не учит химиков их ремеслу. Она стоит в стороне, как наблюдатель, который не вмешивается в ход битвы, но видит её всю целиком.

Во-вторых, это определение задаёт место философии **однозначно**. Никакой двусмысленности, никакого «а может быть, и так, а может быть, и этак». Всё ясно, всё определено, всё разложено по полочкам.

В-третьих, и это самое главное, такое определение будет **бесспорным**. Ибо оно основано не на вкусах, не на школьных традициях, не на авторитетах, а на том, что мы уже установили в ходе наших предшествующих рассуждений. А что установлено строго, против того не спорят — разве что те, кто не способен следовать цепи доказательств.

А поскольку определение это будет бесспорным, оно по необходимости станет **каноническим**. То есть таким, на которое впредь будут ссылаться все, кому нужна ясность в этом вопросе. И те, кто раньше спорил до хрипоты, умолкнут — или же покажут себя людьми, не способными принять очевидное.

Каково же это определение? Ибо определение, висящее в воздухе, есть не определение, а пустая декларация. Только то определение имеет ценность, которое вырастает из системы, как плод вырастает из дерева. А посему — терпение, читатель.

Теперь, когда цель «осознать, что я сделал» установлена и обоснована, следует показать, что эта цель отнюдь не есть нечто частное, пригодное лишь для узкого круга житейских или, как их называют, «экзистенциальных» ситуаций. Напротив, она имеет **всеобщее приложение**. И нет такой области человеческой деятельности, где бы этот принцип не действовал — действовал ли то осознанно, что редко, или, что гораздо чаще, слепо и бессознательно.

Возьмём для примера того, кого принято считать образцом объективности и беспристрастного познания, — **физика**, проводящего эксперимент в своей лаборатории. Вот он, этот гордый жрец точного знания, склонился над приборами. И вдруг — о чудо, которое он сам назвал бы «открытием»! — он обнаруживает **интересный эффект**. Что-то проис-

ходит на его глазах, чего он не ожидал, чего нет в учебниках, что, быть может, никто никогда прежде не видел.

И вот вопрос, который я ставлю перед этим физиком и перед всяким, кто склонен преклоняться перед авторитетом науки: **может ли он показать этот эффект кому-то другому?**

Ответ, следующий из нашей системы, звучит сурово и неумолимо: **нет, не может**. И не потому, что он скрытен или недоброжелателен, а потому, что он этот эффект **только наблюдает, но не воспроизводит**. Он видит нечто, что произошло один раз, быть может, случайно, быть может, в силу стечения обстоятельств, которых он сам не понимает. Но показать другому — значит вызвать тот же самый эффект в присутствии другого, по своей воле, по своему разумению. А для этого нужно знать, что именно ты делаешь.

Если бы физик воспроизвёл эффект — то есть вызвал его снова, намеренно, по заранее известной ему причине, — тогда это означало бы, что он **знает, что сделал**. И тогда он мог бы не только показать эффект другому, но и объяснить, как именно этого добиться. Он мог бы написать инструкцию, составить протокол, опубликовать статью. Но до тех пор, пока этого нет, он остаётся в положении человека, который видел привидение: он один свидетель, и для всех остальных его свидетельство не имеет никакой доказательной силы.

А раз так, заявляю я со всей определённойостью, обнаруженный учёным эффект есть не что иное, как **субъективное**

явление. Он наблюдается одним и только одним субъектом — этим самым физиком, который в данный момент не умеет его повторить. И цель, с которой физик наблюдает это явление, не может быть иной, кроме той, которую мы уже установили: **осознать, что я сделал.** Ибо только осознав своё собственное действие, он сможет превратить субъективное явление в объективное — то есть доступное многим.

Что же происходит дальше? Физик начинает лихорадочную работу. Он перебирает в уме все свои действия, все параметры, все обстоятельства. Он пытается добиться **устойчивого воспроизведения** эффекта. Иными словами, он пытается осознать, что именно он сделал в тот первый, решающий раз. И вот, после многократных проб, после череды неудач и удач, после мучительного перебора вариантов, ему это удаётся. Он осознаёт. Теперь он знает: «Чтобы получить этот эффект, нужно сделать А, В и С в такой-то последовательности».

И что же является плодом этого осознания? Он вырабатывает **инструкцию** — для себя и для других. Инструкцию по вызыванию эффекта. Эта инструкция есть, по сути своей, не что иное, как **генезис явления.** В ней описывается, как именно, из каких действий, при каких условиях возникает то, что наблюдается. Но всякое описание генезиса явления, всякое объяснение того, как нечто возникает из чего-то другого, — есть, если называть вещи своими именами, **философия явления.**

Да-да, именно философия. Ибо физик, когда он пишет: «возьмём такой-то материал, поместим его в такие-то условия, произведём такие-то манипуляции — и получим такой-то результат», — этот физик занимается не физикой в строгом смысле слова, ибо физика как наука имеет дело с уже установленными, повторяемыми, измеримыми фактами. Он занимается именно **философией** — он осмысляет генезис явления, то есть отвечает на вопрос: «как это получилось?» А это, как мы знаем, есть одна из форм вопроса: «что я сделал?»

На этом, заметьте, работа **гуманитарного метода**, который мы исповедуем, заканчивается. Ибо как только инструкция составлена, как только генезис осмыслен, явление перестаёт быть субъективным и становится доступным для всех. Дальше вступает в силу метод естественно-научный — измерение, количественный анализ, построение математических моделей. Но первый шаг, без которого все последующие невозможны, — шаг, на котором одинокий наблюдатель пытается понять, что же он сделал, — этот шаг есть шаг философский и гуманитарный. И наука, которая это отрицает, отрицает собственное происхождение.

Теперь же, после столь долгого и, надеюсь, бесполезного пути, настало время собрать воедино всё, что было сказано, и представить в **сводном виде** тот метод выработки философии субъективного явления, который неявно применялся нами на протяжении всего этого рассуждения, а ны-

не должен быть изложен явно, как руководство для всякого, кто окажется в положении физика, увидевшего необъяснимый эффект.

Метод сей сводится к следующим шагам, которые можно запомнить как последовательность вопросов и ответов, образующих замкнутую систему.

Первый шаг. Определение предмета.

Субъективными называются явления, наблюдаемые одним и только одним субъектом. Это не мнение и не гипотеза, но исходная аксиома, принимаемая без доказательства, ибо всякое доказательство уже предполагает наблюдателя.

Второй шаг. Первый вопрос и первый вывод.

Вопрос: Кто наблюдает субъективное явление?

Ответ: Я.

Вывод: **Я есть наблюдатель субъективных явлений.**

Всякое иное толкование ведёт к противоречию, что было доказано методом от противного.

Третий шаг. Второй вопрос и второй вывод.

Вопрос: Когда я наблюдаю субъективные явления?

Ответ: Когда я нахожусь в сознании. Вне сознания никакое «Я» невозможно, что подтверждается простым наблюдением над собой в состояниях сна, обморока или беспмятства.

Вывод: **Сознание есть состояние наблюдения субъективных явлений.** Эти два понятия совпадают по объёму и различны только по способу рассмотрения.

Четвёртый шаг. Третий вопрос и третий вывод.

Вопрос: Какова цель наблюдения субъективного явления?

Ответ: Осознать, что я сделал. Ибо только осознание собственного действия превращает неоднозначную случайность в однозначный факт.

Вывод: Цель наблюдения субъективного явления есть осознание своего собственного действия. Всякая иная цель, будь то «осознать, что сделали другие» или «осознать, что произошло само собой», либо не достигается вовсе, либо отсылает в бесконечную регрессию, либо приводит к практическому бессилию.

Пятый шаг. Четвёртый вопрос и четвёртый вывод.

Вопрос: Что является результатом этого осознания?

Ответ: Инструкция по воспроизведению явления, то есть описание его генезиса. Или, говоря иначе, — понимание того, как из одних состояний возникают другие, как из действий наблюдателя рождается наблюдаемое явление.

Вывод: Результатом осознания является философия субъективного явления. Ибо философия, в своём подлинном смысле, есть не что иное, как учение о генезисе — о том, как нечто возникает, откуда оно берётся, каковы его корни и истоки. И всякий, кто отвечает на вопрос «как это получилось?», занимается философией, даже если называет себя физиком, химиком или биологом.

Вот он, метод. Вот она, система. В ней нет ничего лишне-

го, ничего случайного, ничего такого, что нельзя было бы вывести из исходного определения. И тот, кто усвоил эти пять шагов, тот обладает ключом к любому субъективному явлению, где бы оно ни возникло — в лаборатории, в жизни, в истории или в собственном сердце.

Теперь всё сказанное о методе, о вопросах и выводах требует своего завершения в виде единого, всеобъемлющего принципа. Ибо система, не увенчанная принципом, подобна зданию без крыши — в него задувают все ветры случайности. Принцип же этот, который я назову **принципом субъективности**, формулируется кратко, как всякая подлинная максима, и звучит следующим образом:

Любая философия — это философия субъективного явления.

Вслушайтесь в эти слова. Они не говорят, что философия *может быть* философией субъективного явления наряду с чем-то ещё. Они говорят: *любая*. Без исключения. Та философия, которая мнит себя учением о «мире в целом», о «бытии как таковом», об «абсолюте» — и она, если только она чего-то стоит, есть в конечном счёте философия того, что наблюдается одним и только одним субъектом. Ибо нет другого доступа к реальности, кроме как через субъективное явление. И тот, кто думает иначе, тот строит замки на песке, принимая свои фантазии за действительность.

Из этого принципа вытекает, в частности, одно следствие, которое столь очевидно, что его следовало бы признать трю-

измом, — и тем не менее, именно ему следуют реже всего. Следствие это гласит:

Разработать философию некоторого явления может тот и только тот, кто непосредственно это явление наблюдает.

Ибо философия, как мы установили, есть результат осознания генезиса явления. А осознать генезис можно только тогда, когда явление тебе дано непосредственно, в твоём собственном сознании, как субъективное явление. Чужие рассказы, книги, свидетельства, статистические выкладки — всё это даёт не явление, а лишь *описания* явлений, которые были даны кому-то другому. А описывать чужое явление — это всё равно что есть с чужой тарелки: видимость насыщения, но не более того.

И вот здесь мы подходим к тому печальному зрелищу, которое являет собой современная философия — и не только она. Сколько есть философов, которые строят пространные учения о **русской жизни**, о её душе, о её судьбе, о её таинственном пути, — но при этом сами либо практически не живут в России, либо живут в ней так, как живёт турист в отеле: не вникая, не страдая, не радуясь по-настоящему, не вращая корнями в эту почву. Они наблюдают русскую жизнь не как субъективное явление — то есть не как то, что дано им непосредственно и мучительно, — а как объект внешнего рассмотрения, как некий препарат под микроскопом. И что же они могут сказать? Они могут сказать много умных

слов, но это не будет *философией* русской жизни. Это будет её *описанием*, и притом описанием, сделанным с чужого голоса.

А на бытовом уровне — куда ни глянь, одна и та же картина. Кто только не мнит себя специалистом в **болезнях**! Каждый второй готов дать совет страждущему, прописать диету, поставить диагноз. Но спросите этого советчика: болел ли он сам этой болезнью? Страдал ли от неё? Лежал ли в жару и ознобе, не зная, наступит ли утро? В девяти случаях из десяти ответ будет отрицательным. Он не наблюдал болезнь как субъективное явление. Он читал о ней. Он слышал о ней от других. И на основании этого чужого, вторичного, пережеванного опыта он берётся учить того, кто болеет на самом деле. И это называется — быть специалистом! Истинное же знание болезни принадлежит только тому, кто через неё прошёл. И философия болезни — только ему и доступна. Остальные могут быть лишь пересказчиками, комментаторами, регистраторами — но не философами.

Таков суровый закон принципа субъективности. Он отсекает от подлинного философствования всех тех, кто привык строить умозрения по поводу того, чего никогда не переживал. Ибо философия — не игра в бисер и не риторическое упражнение. Философия есть плод страдания и действия. И горе тому, кто пытается её украсть, не заплатив этой цены.

Теперь, когда принцип субъективности установлен, когда метод изложен, мы можем, наконец, указать на **принципи-**

альное различие между философией и наукой — различие, которое обычно смазывают, путают и отрицают, но которое от этого не перестаёт существовать. Ибо после всего сказанного ответ становится не просто возможным, но неизбежным и очевидным.

Различие это лежит не в предмете, не в методе, не в языке, а в самой **цели**.

Цель наблюдения субъективного явления, как мы доказали, есть **осознать, что я сделал**. И эта цель непосредственно определяет **сферу действия гуманитарного метода** — того метода, который мы на протяжении всего этого изложения исповедовали и применяли. Сфера эта есть **осознание**.

Научный же метод, сколь бы он ни был велик и могуществен в своей области, имеет иную цель. Его цель — **познание**. Не осознание, заметьте, а познание. Познание того, что есть, независимо от того, кто познаёт и что он сделал. Наука хочет знать, как устроен мир, какие в нём законы, какие причинно-следственные связи. Она хочет измерять, предсказывать, контролировать. И всё это прекрасно и необходимо.

Но познание не есть осознание. Можно познать устройство вулкана, но не осознать, зачем ты сам полез в кратер. Можно познать все законы термодинамики, но не осознать, почему ты включил обогреватель именно сейчас. Познание отвечает на вопрос «что есть?». Осознание отвечает на вопрос «что я сделал?». Это два разных рода деятельности. И их подмена есть источник бесчисленных ошибок.

Гуманитарный метод, таким образом, есть метод **осознания**. Его орудие — не микроскоп и не коллайдер, а та самая последовательность вопросов и выводов, которую мы изложили в сводном виде. Его результат — философия субъективного явления. Его граница — там, где кончается возможность сказать «я наблюдаю».

На этом, полагаю, разработка определения **гуманитарного метода** может считаться завершённой. Ибо мы установили:

Что такое субъективное явление.

Кто такой субъект.

Что такое сознание.

Какова цель наблюдения.

Что есть результат осознания.

Каков принцип субъективности.

И, наконец, чем гуманитарный метод отличается от научного.

Всё остальное есть либо приложение этих истин к частным случаям, либо комментарии, либо — что чаще всего — пустословие тех, кто не удосужился пройти этот путь самостоятельно. Им я ничего не должен, ибо философия, как и жизнь, есть дело личное. Каждый осознаёт своё — или не осознаёт вовсе. И никакая инструкция не поможет тому, кто не хочет смотреть.

Гуманитарное определение теории

После того как гуманитарный метод получил своё определение, а его сфера действия — осознание — была чётко отграничена от сферы научного познания, необходимо сделать следующий шаг. А именно: применить этот метод к самому понятию **теории**, ибо в современном словоупотреблении царит здесь такая же путаница, как и в вопросе о философии. И, как водится, именно там, где требуется наибольшая ясность, процветает наибольший произвол.

О научном методе и принципе объективности

Наука, эта гордая царица современного мира, оперирует тем, что она называет **научным методом**. И этот метод, как нас уверяют, опирается на **принцип объективности**. Звучит внушительно. Создаётся впечатление, будто существует нечто твёрдое, незыблемое, общепризнанное — этакий фундамент, на котором покоится всё здание познания.

Но стоит только приблизиться к этому фундаменту с беспристрастным взглядом — тем самым взглядом, который мы оттачивали на протяжении всего нашего рассуждения, — как иллюзия рассеивается. Ибо попытка найти однозначное определение и того, и другого заканчивается одним-единственным выводом, который я вынужден произнести с прискорбием, но без колебаний:

Сколько учёных, столько и научных методов, и столько же принципов объективности.

На словах, конечно, в некоторой группе может существовать консенсус. Физики договорились между собой, что такое «объективность» в их области, и не пускают туда посторонних. Биологи договорились о своём. Социологи — о своём, хотя там договориться куда труднее. Но это всё — консенсусы локальные, временные, шаткие. А как только появляется **новая теория**, автор её неизменно выступает со сво-

ей собственной претензией: трактовать объективность по-своему, трактовать научность по-своему, перекроить правила игры под свою игру. И это не скандал, не исключение — это **норма** развития науки. Но норма эта, заметьте, прямо противоположна тому, что наука сама о себе декларирует.

Взгляд гуманитарного метода на эту ситуацию

С точки зрения того гуманитарного метода, который мы разработали, эта ситуация получает простое и, смею надеяться, окончательное объяснение. Оно таково:

Ни научный метод, ни принцип объективности не являются субъективными явлениями социальной группы «учёные».

Что это означает? А означает это, что нет такого явления, которое наблюдалось бы всеми учёными как одним субъектом и было бы недоступно посторонним. Нет общего «нечто», которое объединяло бы их в одно состояние сознания. У каждого учёного — своё понимание метода, своё понимание объективности, свои критерии, свои предпочтения. Иначе говоря: **у каждого своё.**

Это, в свою очередь, означает нечто гораздо более серьёзное, чем просто констатацию разногласий. Это означает, что **у учёных нет единого осознания научного**. Они не осознают совместно, что такое наука, что такое метод, что такое объективность. У них есть привычка, есть традиция, есть дрессировка, есть страх перед начальством и редакторами журналов — но нет осознания.

И отсюда возникает вопрос, который должен заставить задуматься всякого, кто ещё способен задумываться: **чего же**

не осознаёт сообщество учёных — не каждый в отдельности, а именно сообщество как целое?

Ответ, следующий из всего предыдущего, звучит так:

Сообщество учёных не осознаёт существование принципа субъективности: любая философия есть философия субъективного явления.

Учёные живут так, как если бы этот принцип был ложен. Они полагают, что можно строить теории о «мире самом по себе», не спрашивая себя, кто именно этот мир наблюдает и что именно он при этом сделал. Они верят в возможность «чистого», «беспредпосылочного» знания — то есть знания, которое ничье и ниоткуда. И эта вера, будучи неосознанной, и есть корень всех их бед.

Из этого неосознания проистекает и та печальная путаница, которая царит в различении **философии** и **теории**. В науке, как правило, теорией называют что угодно — от строгой математической системы до набора смутных догадок, объединённых общим названием. А философией называют что-нибудь «непрактичное» — то есть такое, что нельзя измерить, взвесить или положить в карман. При этом ни тот, ни другой термин не имеют сколько-нибудь твёрдого определения.

Я, в отличие от этой всеобщей распушенности мысли, буду считать **теорией** только такое учение, в котором **однозначно определены и предмет, и метод**. Ибо без этого

— всё равно что строить дом, не зная, из какого материала и по какому плану. Можно, конечно, но результат будет называться не домом, а нагромождением.

Посмотрим на несколько примеров, чтобы стало ясно, что я называю теорией, а что — философией, притворяющейся теорией.

Пример первый: зоология. Предмет зоологии определён однозначно — это животный мир. Метод определён — это совокупность методов зоологических исследований: наблюдение, описание, классификация, сравнительная анатомия, и так далее. Следовательно, зоология есть **теория** в строгом смысле этого слова. Никто не спорит о том, что изучает зоология, и как это изучать. Споры возможны о частностях, но не об основании.

Пример второй: экономика. Здесь картина совершенно иная. Предмет экономики, если честно посмотреть на положение дел, **до сих пор в науке не определён**. Одни говорят, что экономика изучает производство, распределение и потребление благ. Другие — что она изучает поведение людей в условиях ограниченных ресурсов. Третьи — что она изучает обмен. Четвёртые — что она изучает деньги. И все эти определения, заметьте, не сводимы друг к другу. Поэтому все так называемые экономические «теории» — от классической до маржиналистской, от кейнсианской до монетаристской — суть на самом деле **философии**. Каждый автор философствует на свой лад, кто во что горазд. И этот тезис,

как бы он ни оскорблял самолюбие экономистов, подтверждается красноречивым фактом: время от времени в экономической науке появляются учения, которые прямо заявляют о **невозможности экономической теории**. Таков, например, институционализм в некоторых его вариантах. Сама наука рождает сомнение в собственной возможности — что может быть яснее свидетельством того, что никакой теории здесь нет, а есть только философские споры?

Вопреки этому мейнстриму, позволю себе сказать, что в моей **экономической теории** — которая, разумеется, не имеет ничего общего с тем, что под этим именем бродит по свету, — предмет определён. Это **запасы**. А метод — **исследование способов образования и исчерпания запасов**. И этот вопрос, заметьте, есть частный случай нашего общего вопроса: «что я сделал?» — что я сделал, что запасы появились и что я сделал, что они исчерпались. И только потому, что эти два определения заданы однозначно, я имею право называть своё учение теорией. Другие же экономисты пусть называют свои построения как хотят — я не навязываю им своих терминов, но и не позволю им навязывать мне своих.

Пример третий: этногенез. То же самое. «Теории» этногенеза — это философии, и притом чаще всего философии весьма сомнительного свойства. Единственная действительно **теория** этногенеза — это моя. Ибо в ней предмет определён: **сообщества вместе проживающих не род-**

ственников. Не нация, не народ в этнографическом смысле, не раса, а именно это — люди, которые не связаны кровным родством, но тем не менее живут вместе. А метод определён как **исследование ответов на вопрос: «почему мы, не родственники, живём вместе?»** И этот вопрос, заметьте, есть частный случай нашего общего вопроса: «что я сделал?» — только взятый в коллективном измерении: «что мы сделали, что живём вместе?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.